Dostoevskim // Prascheruk N. V. Dialogi s russkoj klassikoj: o proze I. A. Bunina. Ekaterinburg, 2012. S. 23–31.]

Тальников Д. О чиже, дятле и свободном человеке // Одесские новости. 1911. 10 марта. [Tal'nikov D. O chizhe, dyatle i svobodnom cheloveke // Odesskie novosti. 1911. 10 marta.]

Тальников Д. Об И. А. Бунине // Одесские новости. 1912. 15 января. [Tal'nikov D. Ob I. A. Bunine // Odesskie novosti. 1912. 15 yanvarya.]

Тальников Д. При свете культуры (Чехов, Бунин, Подъячев, Вольный) // Летопись. 1916. № 1. С. 276–299. [Tal'nikov D. Pri svete kul'tury (Chekhov, Bunin, Pod'yachev, Vol'nyj) // Letopis'. 1916. N 1. S. 276–299.]

Чириков Е. Русский народ под судом Максима Горького. М., 1917. 61 с. [Chirikov E. Russkij narod pod sudom Maksima Gor'kogo. M., 1917. 61 s.]

Чуковский К. И. Ранний Бунин // Вопр. литературы. 1968. № 5. С. 83–101. [Chukovskij K. I. Rannij Bunin // Vopr. literatury. 1968. N 5. S. 83–101.]

Статья поступила в редакцию 30.03.2014 г.

УДК 821.161.1 Набоков-3 + 325.2 + 316.356.4 **А. А. Накарякова**

К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ГЕРОЕВ В. НАБОКОВА: «РУССКИЕ» СРЕДИ «ПРИЗРАЧНЫХ ИНОСТРАНЦЕВ»

Статья посвящена важной и неоднозначной в творчестве В. Набокова проблеме национальной идентификации. На материале прежде всего русскоязычной прозы Набокова рассмотрены варианты национальной рефлексии и проявления «русского начала» в его персонажах. В ходе анализа «русские» герои Набокова были условно разделены на два лагеря — культивирующих собственную «русскость» и прячущих ее. Такое противопоставление вполне соответствует авторскому мировоззрению и авторской поэтике, где многое держится на антитезе.

Ключевые слова: эмигранты; «русскость»; нация; национальная идентификация; самоидентификация; народ; Владимир Набоков.

Для большинства русских писателей интерес к своему народу, стремление понять и отразить душу «маленького человека» является важнейшей составляющей творческого мира. Писательская позиция Владимира Набокова в этом плане представляет собой исключение. Прежде всего, следует отметить, что своих персонажей прозаик выбирает из достаточно узкого социального круга. На это обратила внимание З. Шаховская, заметив, что «в набоковской России отсутствует русский

© Накарякова А. А., 2014

народ, нет ни мужиков, ни мещан. Даже прислуга — некий аксессуар, а с аксессуаром отношений не завяжешь. <...> Низшая каста, отразившаяся в набоковском творчестве, — это гувернантки и учителя. Если невозможно себе представить Пушкина, Толстого, Гоголя, Лескова без русского человека-простолюдина, герои Набокова все замкнуты в узкий круг богатой буржуазии, высшего чиновничества и интеллигенции» [Шаховская, с. 63–64].

Действительно, в мире Набокова почти нет места людям низших сословий. Представители некоторых профессий для писателя явно не представляют интереса, и люди, занимающие соответствующие социальные ниши, остаются для читателя масками. Так, уже в «Машеньке» приоритеты писателя очевидны. Многочисленные берлинские швейцары, почтальоны, горничные остаются тенями. Они, словно статисты, окружают главных героев, они не наделены оригинальными чертами характера, выраженной индивидуальностью. Даже гувернантки, упоминаемые при рассказе о детстве героя, описаны без всякой сентиментальности, чаще с иронией. Так, например, в романе «Защита Лужина» несколько слов посвящается гувернантке маленького Лужина: «Тучная француженка, читавшая ему вслух “Монте-кристо” и прерывавшая чтение, чтобы с чувством воскликнуть “бедный, бедный Дантес!” предлагала его родителям, что сама возьмет быка за рога, хотя быка этого смертельно боялась» [Набоков, 1990, т. 2, с. 5][1]. И Смуров из повести «Соглядатай» в тот момент, когда читает своим воспитанникам «Роман с контрабасом», изображен скорее с насмешкой, чем с сочувствием. Преподаватель фехтования и гимнастики м-сье Маскара (рассказ «Обида»), страдая животом, постоянно прерывает занятие и «потайными ходами, ущельями книжных шкапов, дремучими коридорами, удаляется на полчаса в нужное место» [2, с. 354]. А школьные учителя всегда «ненароком и некстати» [2, с. 355] объявляют при всем классе вещи, которые ученик, маленький Лужин или Путя, был бы рад сохранить в тайне.

В этом плане трудно не согласиться с мнением Шаховской о «социальном снобизме» Набокова. «Русский народ» не нашел своего отражения в прозе писателя. Проблема сочувствия «маленькому человеку» для него вряд ли актуальна, он выбирает иной ракурс изображения.

В то же время нечто, неуловимо связанное с понятием «народ» (или «национальность»), в прозе Набокова, несомненно, присутствует.

С одной стороны, фактор национальности крайне интересен в связи с откровенно декларируемым космополитизмом самого писателя. Набоков отмечает в одном из своих интервью: «Моей кормилицей и первой нянькой была англичанка. Потом появились гувернантки-француженки. В ту пору я, разумеется, постоянно общался и на русском. Затем было семь или восемь английских гувернанток, учитель-англичанин, а также учитель-швейцарец» [Набоков, 2001, с. 61]. На вопрос журналиста о потере Родины писатель заявляет: «Почвы я не терял. Даже если бы в России нежданно-негаданно не случилось революции, я жил бы во Франции или Италии.

[1] В дальнейшем произведения В.Набокова русского периода цитируются по данному изданию с указанием в скобках номера тома и страницы.

Моя либеральная в политическом плане и космополитическая семья приучила меня жить в интернациональном климате, где французский и немецкий языки занимали то же место, что и русский. В отличие от Бунина, представителя традиционной России, я таковым не являюсь. Я чувствую гораздо более тесную связь, например, с Кафкой. <...> На самом деле я очень близок к французской литературе, и я не первый русский писатель, который в этом признается!» [Набоков, 2001, с. 80].

Набоков неоднократно и в разное время подчеркивал второстепенность принадлежности писателя и человека вообще к той или иной нации: «Я всегда, еще с гимназических лет в России, придерживался того взгляда, что национальная принадлежность стоящего писателя — дело второстепенное. Чем характернее насекомое, тем меньше вероятности, что систематик поглядит сначала на этикетку, указывающую на происхождение приколотого образчика, чтобы решить, к какой из нескольких не вполне определенных разновидностей его следует отнести. Искусство писателя — вот его подлинный паспорт. Его личность тут же удостоверяется особой раскраской и неповторимым узором. Происхождение может подтверждать правильность того или иного видового определения, но само оно обусловливать его не должно. Известно, что бессовестные торговцы бабочками нередко подделывают этикетки. Вообще же я сейчас считаю себя американским писателем, который когда-то был русским» [Там же, с. 210].

Несмотря на все эти заявления, для Набокова, конечно, чрезвычайно важна изначальная («фамильная») национальная идентичность, и в этом, без сомнения, отразилась непреходящая боль от потери Родины. В книге «Другие берега» прозаик с иронией замечает: «Оглядываясь на эти годы вольного зарубежья, я вижу себя и тысячи других русских людей ведущими несколько странную, но не лишенную приятности жизнь в вещественной нищете и духовной неге, среди не играющих ровно никакой роли призрачных иностранцев, в чьих городах нам, изгнанникам, доводилось физически существовать. Туземцы эти были как прозрачные, плоские фигуры из целлофана, и хотя мы пользовались их постройками, изобретениями, огородами, виноградниками, местами увеселения и т. д., между ними и нами не было и подобия тех человеческих отношений, которые у большинства эмигрантов были между собой» [4, с. 283]. Эти «призрачные иностранцы», однако, отнюдь не безлики, и в произведениях Набокова обретают весьма характерные черты. И если в своих интервью писатель дипломатично отзывается о жителях стран, в которых он бывал в годы скитаний («Там, как и везде, есть свои зануды и интересные личности, свои филистеры и порядочные люди. Все общества материалистичны. И были таковыми еще тогда, когда писали гусиными перьями и присыпали сохнущие чернила песком»), то в произведениях своих он расставляет акценты и выделяет приоритеты достаточно откровенно. Однако на этом фоне персонажи русские все равно выглядят совсем иначе, несравнимо живее и объемнее.

Если говорить о русских персонажах, следует отметить, что они, как правило, эмигранты. Разумеется, нельзя не отметить тот факт, что отношения писателя Сирина с эмигрантской средой никогда не были простыми. С одной стороны,

невозможно отрицать, что Набоков был частью эмигрантского круга и по происхождению, и по мировоззрению, и по воле судьбы. Он во многом зависел от своих соотечественников-изгнанников, их мир был необходим писателю, давая возможность физического выживания и творческого становления. Молодой Набоков был связан с другими эмигрантами первой волны общей судьбой, общими надеждами, воспоминаниями, взглядами. В то же время он изначально чувствовал себя одним из тех, чья мысль живет не в общем доме, кто может состояться, лишь будучи одиночкой. Он не выносил всевозможных литературных обществ и кружков, хотя вынужден был их посещать (чего стоит хотя бы гротескно выведенное в «Даре» «Общество Русских Литераторов в Германии» [3, с. 283]), всячески старался подчеркнуть свою независимость от мнения собратьев по перу и нередко резко отзывался о многих писателях своего круга (общеизвестны его ссоры с Г. Ивановым и Г. Адамовичем, его конфликт с молодыми «числовцами»).

Эти противоречивые взаимоотношения с русским эмигрантским окружением нашли свое отражение в том, как Набоков изображает своих сооте-чественников на страницах художественных произведений. Конечно, для персонажей-эмигрантов, оказавшихся вдали от родины, крайне важно сохранить свою русскую целостность, не раствориться в окружающей иностранной действительности. Но порой это приобретает гротескные формы выражения. Среди набоковских персонажей-эмигрантов можно выделить таких, которые конденсируют в себе все русское в сильно преувеличенном виде. Так, например, тесть и теща шахматиста Лужина, «разбогатев, решили зажить в строгом русском вкусе, как-то сопряженном со славянской вязью, с открытками, изображающими пригорюнившихся боярышень, с лакированными шкатулками, на которых красочно выжжена тройка или жар-птица. <...> Мать, статная, полнорукая дама, называвшая самое себя бой-бабой или казаком (след смутных и извращенных реминисценций из “Войны и мира”), превосходно играла русскую хозяйку. <...> Была она очень добра и очень бестактна, искренно любила ту размалеванную, искусственную Россию, которую вокруг себя понастроила» [2, с. 59]. Здесь все говорит о фальшивости, надуманности, искусственности той России, образ которой якобы пытаются воплотить тесть и теща Лужина. Жутким анахронизмом выглядят «пригорюнившиеся боярышни» и жар-птицы. Смутность и извращенность представлений о хрестоматийном тексте русской литературы вовсе не делает им чести. Смешение персонажей «Войны и мира» оказывается лишь отражением беспорядка в умах и душах самой четы героев. В этом доме все оказывается показным, ненастоящим, лишенным жизни. Мать госпожи Лужиной, далеко не самый негативный женский персонаж Набокова, отталкивает не только своей недалекостью, бестактностью, но и тем, что она неискренна, она играет, притворяется, прячет свою пустоту за пошлой картинкой бездарно намалеванной родины.

Подобных персонажей, усиленно оберегающих свою лубочную Россию, мы можем встретить и в произведениях «американского периода». Так, в романе «Пнин» появляется художник Олег Комаров, «сын донского казака», и его жена Сима, «крупная и веселая москвичка», которые «закатывали русские вечера с русскими

hors d'oeuvres, гитарной музыкой и более или менее поддельными народными песнями, предоставляя застенчивым аспирантам возможность изучать ритуалы "vodka-drinking" и иные замшелые национальные обряды; и встречая после этих празднеств неприветливого Пнина, Серафима с Олегом (она возводила очи горе, а он свои прикрывал ладонью) лепетали с трепетным самоумилением: "Господи, сколько мы им даем!", под словом "им" разумелось отсталое американское население» [Набоков, 2004, с. 67]. Здесь стремление сохранить и подчеркнуть в себе и в своем образе жизни русское начало приобретает еще более карикатурный, гротескный характер.

Разумеется, Набоков, как глубокий и тонкий прозаик, остро ощущающий свою связь с Родиной, не мог считать приемлемым этот лубочный образ. Те, кто несет его в себе, отмечены неистребимым знаком пошлости. Однако в прозе Набокова встречаются иные русские персонажи, которые вовсе не стремятся культивировать свою «русскость», но при этом оказываются внутренне созвучны утерянной Родине. То русское, что в них есть, порой сложно запечатлеть словами, но оно прорывается в их памяти, в их словах и жестах, деталях внешности. Любой отзвук родной страны эхом откликается в их душах. Так, в рассказе «Весна в Фиальте» читаем: «Я этот городок люблю; потому ли, что во впадине его названия мне слышится сахаристо-сырой запах мелкого, темного, самого мятного из цветов, и не в тон, хотя внятное, звучание Ялты» [4, с. 305]. Это «звучание Ялты» герои-эмигранты чувствуют во всем, что так или иначе связано с потерянной родиной. И берлинский березняк для них вдруг может «свежо и по-детски попахивать Россией» («Дар», [3, 298]). Это русское начало столь сильно, что годы изгнания не в силах вытравить его.

Очень характерная в этом ключе деталь — русское детство персонажей, которое вспоминается ими как личный потерянный рай, а в широком смысле — как русское прошлое в целом. Ганин вспоминает «широкие аллеи» и «дебри парка» [1, с. 58], усадьбу, «белую скамью в темной зелени хвой», «блестевшие стекла веранды», сиделку из Петербурга — один из немногих персонажей, который можно без натяжки причислить к «народным» образам («Сиделка очень низенького роста, с мягкой грудью, с проворными короткими руками, и идет от нее сыроватый запах, стародевическая прохлада. Она любит прибаутки, японские словечки, оставшиеся у нее от войны четвертого года. Лицо с кулачок, бабье, щербатое, с острым носиком, и ни один волосок не торчит из-под косынки» [1, с. 56]). Детали этого «рая», русского детства, в представлении Ганина стягиваются в образ Машеньки, за которой недаром ведь стоит «теплая громада родины» [1, с. 104]. Она плоть от плоти этого рая. «В этой комнате, где в шестнадцать лет выздоравливал Ганин, и зародилось то счастье, тот женский образ, который, спустя месяц, он встретил наяву. В этом сотворении участвовало все, — и мягкие литографии на стенах, и щебет за окном, и коричневый лик Христа в киоте, и даже фонтанчик умывальника. Зарождавшийся образ стягивал, вбирал всю солнечную прелесть этой комнаты и, конечно, без нее он никогда бы не вырос» [1, с. 57]. Дедовская усадьба оказывается своего рода контрапунктом русской культуры, символом вписанности в нее героя.

Еще один персонаж «Машеньки», носитель подлинно русского начала — поэт Подтягин. Недаром Ганин говорит о нем: «Это был, пожалуй, единственный человек, который мог бы понять его волнение. Ему хотелось рассказать о многом, — о закатах над русским шоссе, о березовых рощах» [1, с. 62]. И в этом желании поговорить и о «русских березах», и о Балашовском училище в Петербурге, и о стихах о России, и о «реке Оредеж, воспетой Рылеевым», нет ни капли фальши, пошлости, игры: это потребность души, потребность ощутить себя частью своей нации — человеком, разделяющим ее ценности и мировоззрение, способным понять соотечественника с полуслова. Именно подобные «сигналы» русского прошлого (поэзия, музыка, памятные места) духовно объединяют уроженцев России, а вовсе не хлебосольные русские приемы в псевдонародном духе, которые устраивают персонажи, подобные уже упомянутым героям «Защиты Лужина» или «Пнина». Причем это подлинное духовное единение возможно далеко не с каждым представителем своей нации, — все зависит от личности, от качества этой неуловимой, но и неистребимой «русскости», которым она, личность, пронизана.

Тем не менее, русские эмигранты за границей оказываются в своего рода изоляции среди иностранцев и вынуждены держаться вместе. Ситуация «русский среди иностранцев» подробно описана и в романе «Подвиг». Особенно интересно при этом, что Мартын Эдельвейс, главный герой книги, представляет собой тип персонажа-космополита. Мартын из тех героев, в чьей родословной сошлись представители не только русской национальности. Дед его, к примеру, был «рослый швейцарец с пушистыми усами, воспитывавший в шестидесятых годах детей петербургского помещика Индрикова и женившийся на младшей его дочери» [2, с. 155]. Детство Мартына можно назвать «английским»: «Первые книги Мартына были на английском языке» [2, с. 156]; «Русскую сказку Софья Дмитриевна [мать Мартына. — *А. Н.*] считала аляповатой, злой и убогой, русскую песню — бессмысленной, русскую загадку — дурацкой... Таким образом, Мартын в раннем детстве не узнал иного, что впоследствии сквозь самоцветную волну памяти могло бы прибавить к его жизни еще одно очарование, но очарований и так было вдосталь, и ему не приходилось жалеть, что не Русланом, а западным братом Руслана было в детстве разбужено его воображение» [2, с. 157].

Однако, несмотря на то, что по крови и по воспитанию Мартына, казалось бы, нельзя считать полностью русским, он ощущает постоянную и неразрывную связь со страной, в которой родился и прожил начало своей жизни. Это отмечает и сам герой, хотя объяснить не в силах: «В Кембридже он и подавно почувствовал себя иностранцем. Встречаясь с англичанами — студентами, он, дивясь, отмечал свое несомненное русское нутро. От полуанглийского детства у него остались только такие вещи, которые у коренных англичан, его сверстников, читавших в детстве те же книги, затуманились, уложились в должную перспективу» [2, с. 191]; «В футбол петербуржцы играли на твердой земле, а не на дерне, и штрафной удар обозначался неизвестным в Англии словом “пендель”... И вообще все это английское, довольно, в сущности, случайное, процеживалось сквозь настоящее, русское, принимало

особые русские оттенки» [2, с. 192]. И то, что герой решает вернуться в Россию, еще раз доказывает существование и силу этой связующей нити. Характерно, что у героев-космополитов эта связь зачастую оказывается гораздо более подлинной, чем у тех персонажей, которые всячески демонстрируют свою русифицированность. Мартыну же, напротив, разговоры о России, тем более с иностранцами, кажутся глупыми и бесполезными: «Он заметил, что всякий считает должным говорить с ним о России, выяснять, что он думает о революции, об интервенции, о Ленине и Троцком, а иные, побывавшие в России, хвалили русское хлебосольство или спрашивали, не знает ли он случайно Иванова из Москвы. Мартыну такие разговоры претили» [2, с. 193]. Все это общеизвестно и многократно растиражировано, а значит — пошло.

Отдельно стоит упомянуть последний «русский» роман Набокова «Дар». Здесь пресловутый «русский дух» находит свое воплощение не столько во внешности и поведении персонажей, их привычках и быте, сколько во внутренней идентификации себя как представителя русской нации. У главного героя, поэта Федора Константиновича Годунова-Чердынцева, есть своя Россия. И она вовсе не осталась в прошлом, она живет в душе персонажа и в его книгах. Это родовое имение, винтовые лестницы, аллеи родного парка, «иней Санкт-Петербурга» [3, с. 19]; это семья, родные. Но отнюдь не народ в смысле представителей простонародья. Простой люд появляется в его воспоминаниях в лучшем случае в качестве статистов, как, например, упоминается в двух словах кучер отца. В этом случае слова о «социальном снобизме» аристократа Набокова кажутся более чем справедливыми. Герои подобного плана Федору Константиновичу (а вместе с ним и Набокову) попросту неинтересны. Подобное представление о родной земле весьма далеко от понимания России как «мужичьей страны», характерного, например, для Николая Гавриловича Чернышевского, безжалостно высмеиваемого в книге. Стоит отметить, с каким чуть ироничным презрением упомянет Годунов-Чердынцев: Щеголевы «спят бесчувственным, простонародным, стопроцентным сном» [3, с. 292]; с какой легкой, но откровенной неприязнью поэт относится к своей хозяйке Марианне Николаевне с ее борщами и ее супругу Борису Ивановичу с его пошлой и пустой болтовней и, что еще хуже, «нарочито гортанным коверканьем русской речи, которой тот с наслаждением занимался, — например, говоря мокрому гостю, наследившему на ковре: «ой, какой вы наследник!» [3, с. 169].

Чтобы быть подлинно русским, недостаточно устраивать в своем доме встречи, на которых обсуждаются «советские деятели, потерявшие после смерти Ленина власть» [3, с. 32], или рассказывать «старинные первоапрельские проделки медика первокурсника в Киеве» [3, с. 31], как это делают Чернышевские, стремящиеся всячески подчеркнуть свое «русское нутро». И тот факт, что Александр Яковлевич Чернышевский был «лично знаком с Александром Блоком», отнюдь не приближает его к пониманию русской поэзии, глубиной знания которой отличается Годунов-Чердынцев или, например, его духовный двойник Кончеев.

С гораздо большей симпатией в романе упоминаются посиделки у друзей семьи Мерц с «мирными разговорами стариков о болезнях, свадьбах и русской

литературе» [3, с. 169]. Русская литература вообще очень часто оказывается той точкой, где находит свое выражение подлинная русская натура, где люди одного уровня национального самосознания могут без слов понять друг друга. И благодаря общению с родной литературой, через обращение к истории своей страны, которую литература, разумеется, отражает и по поводу которой рефлектирует, герои, в частности, Годунов-Чердынцев, выстраивают новую парадигму отношений с Россией, выходят на новый уровень ее понимания: «Постепенно, от всех этих набегов на прошлое русской мысли, в нем развивалась новая, менее пейзажная, чем раньше, тоска по России, опасное желание (с которым успешно боролся) в чем-то ей признаться и в чем-то ее убедить» [3, с. 184]. И упоминание о России в письме к матери можно считать своего рода гимном родине, признанием ей в любви и признанием своей неразрывной связи с ней: «А когда мы вернемся в Россию? Какой идиотской сентиментальностью, каким хищным стоном должна звучать эта наша невинная надежда для оседлых россиян. А ведь она не историческая, — только человеческая, но как им объяснить? Мне-то, конечно, легче, чем другому, жить вне России, потому что я наверняка знаю, что вернусь, — во-первых, потому что увез с собой от нее ключи, а во-вторых, потому что все равно когда, через сто, через двести лет, — буду жить там в своих книгах, или хотя бы в подстрочном примечании исследователя» [3, с. 315].

Таким образом, несмотря на откровенное пренебрежение Набокова к хрестоматийной теме «народ», писатель не может оставить ее без внимания, уже хотя бы потому, что для него принадлежность героя к определенной нации зачастую оказывается определяющей характеристикой. Но национальная самоидентификация у тех или иных персонажей осуществляется различными путями. Позиционирование себя как представителя русской нации, русского народа, с одной стороны, может быть показным, зачастую неискренним, базироваться на обращении к шаблонам и стереотипам; с другой стороны, оно может быть глубинным, внутренним, невыразимым словами, основанным на воспоминаниях о русском прошлом, на обращении к русскому языку и литературе, к русской истории или семейной родословной...

Можно сказать, что, касаясь вопроса национальной идентичности, Набоков остается верен себе и своему принципу дуализма. Его поэтика национальной идентичности производна от его общей поэтики, философии и эстетики, где граница проходит по рубежу: «внутреннее» и «внешнее», «показное» и «сокровенное», где пошлое и многословное противопоставлено подлинному, глубокому и невыразимому.

Набоков В. В. Собр. соч. : в 4 т. / сост. В. В. Ерофеев. М., 1990. [Nabokov V. V. Sobr. soch. : v 4 t. M. 1990.]

Набоков В. В. Собр. соч. американского периода : в 5 т. / сост. Н. И. Артеменко-Толстой. СПб., 2004. Т. 3. 704 с. [Nabokov V. V. Sobr. soch. amerikanskogo perioda : v 5 t. SPb., 2004. T . 3. 704 s.]

Набоков о Набокове и прочем: интервью, рецензии, эссе / под ред. М. Аверьянова. М., 2001. 352 с. [Nabokov o Nabokove i prochem: interview, esse, recenzii. M., 2001. 352 s.]

Шаховская З. А. В поисках Набокова: Отражения. М., 1991. 316 с. [Shahovskaya Z. A. V poiskah Nabokova: Otrazhenia. M., 1991. 316 s.]

Статья поступила в редакцию 04.02.2014 г.

УДК 821.161.1 Акунин-З + 811.161.1 + 172.15

Т. А. Снигирева
А. В. Снигирев

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «ОТ ПРОТИВНОГО»: РОССИЯ, РУССКИЙ ЯЗЫК И ХАРАКТЕР В РОМАНАХ Б. АКУНИНА

В статье исследуется характер художественной репрезентации национального дискурса в творчестве Б. Акунина. Показано, какими языковыми приемами писатель пользуется, ставя в своих романах нации перед лицом друг друга, выявляя тем самым их самобытность или штампы и стереотипы этой самобытности.

К л ю ч е в ы е с л о в а: национальная идентичность; национальные барьеры восприятия; ментальность; национальный язык.

Б. Акунин принадлежит к тем современным писателям, для которых проблемы национальной принадлежности и национального modus vivendi являются важнейшими и так или иначе представлены во всем его творчестве: от знаменитого литературного проекта «Приключения Эраста Фандорина» до беллетризованной «Истории Российского государства».

Б. Акунин — писатель, остро ощущающий свою безусловную принадлежность русской культуре, пишущий по-русски, но всегда помнящий о своей «инаковости», что дает ему возможность осмыслять русскую ментальность, характер, историю, судьбу и место России в мире, по крайней мере, с двух позиций: изнутри и несколько отчужденно-отстраненно и (с художественной точки зрения) остраненно.

Б. Акунин ставит в своих романах нации перед лицом друг друга, выявляя их самобытность или штампы и стереотипы этой самобытности. Но в книге «Любовь к истории» он прежде всего ставит Россию перед собственным мировоззренческим зеркалом, в результате чего в жестко-публицистической манере обрисовывает систему «черт русской ментальности по Акунину». Обращая внимание на отсутствие в русском языке у глагола *победить* будущего времени в единственном числе, писатель видит «в этой загадочной прорехе 1) признак национального пессимизма, 2) неверие в силы одного отдельно взятого человека, причем не “кого-то там” (“он” или “она” запросто “победит”) и не коллектива (“мы победим”, это без вопросов), а неверие лично в себя» [Акунин, 2012, с. 59]. Карамазовская триада

© Снигирева Т. А., Снигирев А. В., 2014